

СЕРГЕЙ МИХЕЕНКОВ



СОЛДАТСКИЕ ИСТОРИИ

1944 ГОД

— Когда война началась, я работала на молокозаводе. На третий день нас, комсомольцев, направили под Желонец копать противотанковые рвы. Через несколько дней отпустили по домам. Сказали: сходите, мол, помойтесь, наберите продуктов и возвращайтесь обратно. Пришли мы в Муравьёвку. А нас сразу послали скот колхозный угонять. Собрались мы в дорогу. Нас, знать, семеро было. Все девчата. И мы это стадо коров согнали в Мордовию. Вон куда! Так что колхозные коровы немцу не достались.

Сдали коров. Куда самим деваться? Есть-то нечего. Обносились в дороге. Стали проситься, чтобы нас взяли куда-нибудь на работу.

Помню, под Куйбышевом, там тоже оборонительные сооружения строились, пришла я и говорю тамошнему начальству: “Возьмите меня на работу”. Они на меня посмотрели и говорят: “Куда ж мы тебя возьмём? Ты ж ещё ребёнок!” А и правда, росточком я была невелика. Я им опять: “Вы не сомневайтесь. Я многое умею делать. И работы не боюсь”. Взяла их своей настойчивостью. Они и говорят: “Ладно. Приходи завтра”.

Я где-то там переночевала. Утром пришла. А начальница спрашивает меня: “А откуда ж ты родом?” Видимо, по слову моему почувствовала свою родину. Я ей: так и так, из Смоленской области. Мы ж тогда, в начале войны, не Калужской, а Смоленской области писались. “Ой! Ты ж моя землячка!” Звали её Валентиной Евтихьевной. Фамилию забыла.

Взяла она меня на работу. А потом и говорит: “Катюх! Давай мы тебя на курсы шоферов пошлём?” Я и согласилась.

Курсы ускоренные. Стажировались на грузовике “ЗиС”. Машина большая. Помню, начнём заводить мотор. Ребята курсанты крутят-крутят ручку,

никак не провернут. Я им: “А ну-ка, дайте я попробую!” Подхожу. Шофёр, который обучал нас вождению, смотрит, посмеивается. А я дробненькая, с виду так себе. Но рука у меня крепкая, натренированная. На молокозаводе я крутила сепаратор. Это сейчас везде электромоторы. А тогда всё делали вручную. Сепаратор тяжёлый был. Вот взяла я ручку, раз-другой крутанула по-сильней да порезче, мотор и завёлся. Шофёр смеётся. И ребята все удивляются: “Ну и Катюха!”

Через два месяца — на фронт.

Дали мне полторку. Старенькую. Всю пробитую пулями. В кабине, на сиденье, кровь присохшая... Сказали: вот, мол, тебе машина, снимай мотор, ремонтируй. Разобрала я машину, все гайки поотвинтила. Мне механик помогал. Почистила клапана, поршни. Кое-что поменяли.

Собрали мы эту машинёнку. Села я за руль. Поехала. Едет моя машина, слушается!

Сперва возле гаража ездил. Разные задания выполняла. А потом, когда немца погнали, стали посылать меня и к передовой.

Вот, помню, под Минском...

Наши переправу делали, а я им доски подвозила. Сапёрам. Туда — доски, а обратно — раненых.

Шёл уже сорок четвёртый год. Наш батальон был в составе 2-го Белорусского фронта Рокоссовского.

Проснулись утром. Меня посылают на передовую. Я уже человек опытный. Девчата, подруги мои, в слёзы: “Ой, Катюха, больше мы тебя не увидим!” Прощаемся. А я передовой не боялась. Я будто знала, что меня не убьют.

Девчат в гараже у нас было много. А водителей только четверо: я, двое тульских и одна из Рязани. Но ездили они неважно, и их далеко посылать боялись. Я ж ездила всюду, куда пошлют.

Вот, значит, под Минском...

На передовой нагрузили мне в кузов раненых. Стонут. Все в бинтах, в крови. А тут налетел самолёт. Стал бомбить. Бомбы рвутся совсем рядом. Санитарки, которые сопровождали раненых, мне кричат: “Давай, быстрее уезжай! А то сейчас разбомбит!” Я им: “Никуда мы не поедем. Машина замаскирована. Он нас не видит. Улетит, тогда и поедем. А на открытом он нас сразу прихватит”.

Немец пролетел, нас не заметил. И мы благополучно вернулись в тыл.

Бывало, выедешь к передовой. Ребята, бойцы наши, в бой идут. Кричат: “Сестра! Прощай!” Не с кем им попрощаться, вот со мною и попрощались. Знали, что многим сейчас...

Раз забралась на кабину, посмотреть, как они там воюют. Стою. Гляжу, а один, с которым я только что разговаривала, вдруг упал, и к нему санитары подбежали. А меня пожилой боец ухватил за ноги и — долой: “Ты что?! Тебя сейчас снайпер так и сымет!”

Другой раз едешь по дороге, глядишь, машина разбитая стоит. Или догорает. Кругом воронки. Значит, разбомбили. Иногда так и своих встречала, знакомые машины. Немецкие самолёты любили за машинами гоняться. Ни патронов, ни бомб не жалели.

А я ни разу ни под бомбёжку, ни под обстрел не попала. Мне в батальоне все удивлялись. Комбат, бывало, пошлёт куда-нибудь, откуда уже несколько машин не вернулось, а сам, видать, переживает, что меня, девушку, под пули отправил. Ждёт. А я, глядишь, вот она, и вернулась невредимая. Он мне: “Ну, Катюха! Какая же ты везучая!” В гараже узнаю: в батальоне опять большие потери.

А мне и правда везло.

Накануне войны я видела сон. И помню его всю жизнь. Проснулась и говорю матери: “Мам! Я сегодня с Богом летала!” — “Ну, ещё чище...” А мы ведь тогда в деревне не знали проводов. Это потом — столбы, провода, радио, электричество... Сон же мой был такой. Будто ко мне подлетает кто-то и говорит: “Полетели со мной!” — “Куда?” — “Увидишь, куда”. И я полетела. Лечу — по проводам! “Ой! — кричу. — Задену! Упаду!” — “Не

упадёшь. Лети! Ничего не бойся!” А лететь мне хорошо, сладко, приятно, хоть и страшно немножко. “А с кем я лечу?” — “Со мною”. — “А кто ты?” — “Я, — говорит, — Бог”. Я пытаюсь на него посмотреть, какой же он, Бог? Но не вижу. Не могу разглядеть его. “Какой же ты?” — говорю. “Смотри, какой!” — говорит и показался на мгновение. И увидела я его — маленький, как блошка. А мы всё летим, летим. “Теперь я не вернусь”, — говорю ему. А мне уже домой хочется. “Ничего, — говорит, — вернёшься”.

Вот такой сон. И всю войну я пролетала, как блошка, и нигде меня не задело. Я и сама порой удивлялась. Ведь не раз могла бы и погибнуть.

Однажды отправили меня в отряд минёров. Поехала. А я ж не знала, где мины, где нет. Приезжала к мостику через ручей. Перед мостиком мне бойцы постучали в кабину: “Потише едь!” Нет, думаю, что вы мне ни говорите, а тише я не поеду. Как всё равно мне кто подсказывал. Разогнала я машину и прямо перелетела тот мостик! Позади разорвалась мина. Никого не задело. Раненые мои кричат: “Гони скорее! Обстрел!” А я остановилась и говорю им: “Обстрел окончен. Теперь не бойтесь. Это противопехотная мина была”.

Так я и летала всю войну на своей машинёнке. И все пули, все осколки — мимо меня...

У тех сапёров, к которым я по минам приехала, были раненые. Я их повезла в тыл. Подехала к мостику через ручей. Перед мостиком мне бойцы постучали в кабину: “Потише едь!” Нет, думаю, что вы мне ни говорите, а тише я не поеду. Как всё равно мне кто подсказывал. Разогнала я машину и прямо перелетела тот мостик! Позади разорвалась мина. Никого не задело. Раненые мои кричат: “Гони скорее! Обстрел!” А я остановилась и говорю им: “Обстрел окончен. Теперь не бойтесь. Это противопехотная мина была”.

Так я и летала всю войну на своей машинёнке. И все пули, все осколки — мимо меня...

Однажды, когда немца прогнали из Минска, комбат наш, Роман Антонович, и говорит мне: “Катюх, поехали в Минск. Я хочу домой заехать, родных повидать. Живы ли, хоть узнаю”.

А войска наши наступают, все дороги забиты. Вперёд идут. Едем и мы. А тут у меня сигнал заклинило. Едем, а сигнал не отключается. Замкнуло где-то. Я комбату: “Роман Антонович, разрешите остановиться. Я сейчас быстро отремонтирую сигнал. И поедем дальше”. А он: “Нет, Катюха, теперь уж гони!” Так, с сигналом, до его дома и доехали.

Встретил комбат своего отца, сестёр. Выскочили все, обняли его. А я ремонтирую машину и смотрю на них. Думаю: эх, мне бы сейчас домой! Хоть на минуточку! Маму повидать, отца, сестру, братьев... Так радостно мне было смотреть на комбата и его семью!

Победа меня застала в городе Штеттине, на Одере. В Германии. Победили мы их.

Подруги меня уговаривали поехать в Москву, работать. Но я соскучилась по дому и решила ехать в свою родную Муравьёвку.

Приехала домой. А здесь всё разбито. Дома пожжены. Мать, сестру и младших братьев своих нашла. В землянке жили. Мать малярией болела. В землянке-то сыро. Недоедали.

Легко сказать — война. А как на неё поглядели... Не дай Бог нашим внукам — войны.

Сколько ж людей погибло! Всё молодые.

Отец мой и двое братьев, старших, тоже были на войне. Отец вернулся. А братья погибли. Иван и Сергей. Иван 1920 года рождения. Когда началась война, он служил действительную. Так сразу где-то и пропал. А Сергей с 1926-го. С Сергеем мы воевали рядом. Он погиб в Восточной Пруссии. Рядом был. А вот не встретились. Может, если бы встретились, я его как-нибудь и спасла...

— После ранения и госпиталя я был направлен в резерв. Часть стояла под Гомелем.

А тут как раз надо наступать. Операция “Багратион” началась. Формировали батальон штрафников. В штрафном батальоне так: солдаты — штрафни-

ки, а офицеры — кадровые. Я до госпиталя воевал в миномётной роте, был командиром расчёта и комсоргом минроты. После госпиталя закончил ускоренный курс офицерского училища. Закончил, лейтенантские погоны получил, ну, думаю, теперь мне командирскую должность дадут. Может, командиром миномётной роты назначат. Назначили... замполитом штрафного батальона.

Вечером переправились через реку Сож. Вышли на исходные. А утром всем выдали водки, поставили задачу и после артподготовки — вперёд! Я тоже водки выпил.

Наступали мы, офицеры, вместе с ротами. В одной цепи с солдатами бежали. Когда бежишь в атаку, о жизни своей и смерти не думаешь. Ночью, когда на исходных в траншее сидели, думали. По лицам видел — всех эти думы одолевали. И перед атакой, когда артподготовка началась, видел, как полы шинелей у ребят тряслись... А когда поднялись, уже всё позади. Летить — как на крыльях. Вперёд!

Прорвали мы фронт. Немцы на нашем участке упорные попались, не отошли. Так мы по их головам прошли. Узкими клиньями в двух местах к их обороне пробивались, прыгнули в траншею и пошли вдоль неё. В руках гранаты да сапёрные лопатки. Смяли мы их, пошли дальше. А соседи, как потом оказалось, не прорвались. Их немец не пропустил. Там штрафников на прорыве не оказалось.

Углубились мы километров на шесть. Остановились. Видим, на флангах никого нет. И начал нас немец окружать. Опомился. Обложил со всех сторон. И уже в громкоговорители кричит: “Иван! Штыки в землю!”

Мы связались по радию со штабом дивизии. Оттуда получили приказ: вернуться на исходную. Стали готовить прорыв. А немец уже за нами брешь замкнул. Даже миномёты подтащил.

Ладно, мы тоже уже воевать умели. Сосредоточились на участке метров в сто шириной и пошли опять в атаку. Рядом со мной троих убило.

Вышли. Сосчитали живых — около двухсот человек осталось, и те почти все переранены. А утром, когда пошли в атаку, нас 1200 человек было.

— Стояли мы под Могилёвом. Перед этим наступали. Несколько дней шли и шли вперёд. Бои, бои, бои... Ну и подвыбили наш батальон. Отвели во второй эшелон, на отдых. Помыться да обмундирование заштопать. Обносились. В бою ведь как: на локтях да на коленках всё до дырок протираешь, ползаешь, как змея... Пополнение получили. Молодых совсем ребят, двадцать шестой год.

Наше отделение хату заняло. Устроились хорошо. Печку топим. Живём, не тужим. Жителей-то немцы из деревни угнали к Витебску. Хаты поджечь не успели. Команду факельщиков местные партизаны возле речки на мосту перехватили — три мотоцикла, — всех там и положили. Факельщиков в плен не брали.

Ночами начали летать немецкие самолёты. У них тоже ночные бомбардировщики были.

Однажды утром просыпаемся от холода. Что такое? К теплу-то уже привыкли. Ребята: “Кто дверку распахнул?” Молодых принялись бранить, они у нас всё по ночам на двор бегали... Но глаза продрали, а посреди горницы — мать честная! — в полу бомба торчит стабилизатором вверх. Бо-ольшущая чушка! В потолке дыра, и небо через ту дыру светится.

Ночью прилетела, зараза. А мы и не услышали, когда её к нам занесло.

Мы походили вокруг неё. Умылись. Молодых предупредили, чтобы бомбу не трогали. С кухни принесли котелки с горячей кашей. Сели вокруг бомбы и позавтракали.

Вскоре пришли сапёры. Выкрутили взрыватели. Вытащили через окно ту бомбу. Пятисоткилограммовая. Как они её выволакивали?

А ребята рядом спали. Она у них в ногах пол проломилась. Нижний взрыватель бракованный был. Судьба.

— А как попадали в штрафные роты и батальоны? Вот я сейчас расскажу один случай.

У нас в батальоне, ещё с Котельнича, был замполит по фамилии Гордон. Когда проводил с нами политзанятия, всегда говорил: “Вот я, когда попадём на фронт, стану обязательно Героем Советского Союза!” Уж очень ему хотелось воевать! И нас он настраивал на героический лад. Лучше бы его, такого боевого, начальство в тылу и держало — для укрепления боевого духа войск, которые направлялись к фронту. Говорил он умно, складно, красиво. И у нас настроение поднималось — поскорее кинуться на врага.

Пришли на фронт. И, когда нас немец в первом же бою потренил и погнал, он, наш замполит Гордон, с передовой сбежал. Комбат Шудров поручил ему отвести в безопасное место обоз, а он обоз бросил. И обоз тот, со всем имуществом и лошадьми, попал в руки к немцу. Ездовые потом прибежали, всё, как было, рассказали. Несколько человек всего и вырвалось. Остальные в плен попали. Других убило. Наделал дел наш герой. Комбат хотел его лично застрелить. Но потом успокоился, доложил начальнику особого отдела. Провели разбирательство. И всё вроде затихло.

После боёв нас отвели в тыл, на пополнение.

Сидим однажды в хате. Хата без крыши, одни стены. Делать нечего, играем в карты. С нами и Гордон, наш замполит. Теперь он про героизм не говорит, анекдоты травил. Он их много знал.

Вдруг входит незнакомый младший лейтенант. Поздоровался. Смотрю, парень крепкий, мышцы под гимнастёркой так и играют. Говорит: “Можно и я с вами сыграю?” — “Садись”. Играем. А мы уже заметили, что на улице стоят пять или шесть солдат с винтовками. Пришли они с младшим лейтенантом. Ждут.

Вдруг этот младший лейтенант наклонился к Гордону и говорит: “Гордон, вы арестованы!”

Гордон вскочил, сразу за наган. Был у него револьвер, с которым он ходил постоянно, не расставался. Небось, когда обоз с ребятами бросил, за револьвер не схватился... Младший лейтенант будто только и ждал того — кинулся на Гордона, как кошка, сгрёб его, руку с наганом заломил. Вошли солдаты, связали замполита, повели. Посадили в погреб, выставили часового.

На другой день осудили. Разжаловали в рядовые и отправили в штрафной батальон.

Штрафников посылали только на прорыв. В обороне их не держали. Не надёжные. Часто перебежали к немцам. А на прорыве действовали хорошо. Да ещё если водки дадут... Стояли всегда в тылу, километрах в пяти-шести от передовой. Подводили только, когда готовился прорыв.

Встретил я своего разжалованного замполита Гордона уже после Победы в Москве. Жил он в Ленинграде, работал где-то в торговле. На жизнь не жаловался. А потом я узнал: стал он председателем Совета ветеранов нашей дивизии.

— Два раза я это дело повидал — окружение.

Под Вязьмой они нас, а под Минском, потом, мы их на части рвали. Вот, помню, вывалит толпа из лесочка, налегке бегут, на прорыв. Мы из миномётов как дадим! Только вой стоит! Через некоторое время — запахло... В жару трупы быстро разлагались. Если ещё и ветер оттуда, всё, одуреешь от этого запаха. На кашу смотреть не могли...

— Форсировали мы реку Нарев. Это — в Польше. Нарев — чуть меньше нашей Оки. Утром сыграли на миномётах. Хорошо, плотно застелили. Перепахали им там за рекой всё. Пехота пошла. Подошли к реке, и тут мост взлетел на воздух. Отступая, немцы взорвали единственную на нашем участке переправу. Что делать? Форсирования с ходу не получилось. Ночью нашли кое-то из плавсредств. Приготовились. Утром пошли. Прорвались в глубину километра на два. Захватили плацдарм. Немцы попались нам на этот раз какие-то смиренные, не контратаковали.

И где-то в лесу, на том плацдарме, ребята мои нашли гусей. Разжились по случаю... А что гуси? Они в списках не значатся. Ощипали и — в ведра этих гусей! Варим. И уже запахло гусятиной. Хорошо, по-домашнему запах-

ло. Ещё бы минут двадцать, и мы этих гусей прибрали бы по назначению. И тут — командир нашего полка, майор Королёв: “А это что такое?!” Командир миномётной роты подбегает, руку к козырьку: “Товарищ майор, вторая минрота...” — “Что это такое, я спрашиваю?! Там люди гибнут, а тут!.. Вперёд! Марш!”

Мы — бегом! Миномёты разобрали. И — вперёд. Вышли к траншее, где залегла наша пехота. Ещё не подбежали мы, смотрим, на той стороне, недалеко, метрах в ста уже, на опушке леса — немцы. Высыпали густой цепью, почти толпой, кричат по-своему. И — на нас. Вот тебе и смирные. “К бою! Заряд основной! Прицел...” А что прицел, тут уже каждому наводчику, побывавшему в боях, прицел ясен. Быстро развернули огневую, прямо на открытом месте. И — весь свой НЗ высыпали в несколько минут прямо в немецкие цепи. Каждый миномётчик, свободный от переноски матчасти, носил всегда десять мин. В специальной коробке. Неприкосновенный запас. Вот этот неприкосновенный запас мы и пустили в ход. Беглый огонь по всей ширине цепи. Они ещё и развернуться как следует не успели. Слышим, там, на опушке, завывли, застонали. Живые тоже залегли. Всё, конец атаки! Отбились.

Потом, назавтра, в День артиллерии, комполка поздравлял нас так: “Вот миномётчики!.. Я подхожу, а они картошку варят. И где они эту картошку нашли? Они картошку варят, а немцы уже в атаку разворачиваются! Но молодцы, потом они себя быстро оправдали! Отбили атаку лихо! Спасибо, миномётчики!” А мы слушаем и думаем: ну, спасибо тебе, товарищ майор, что про гусей не вспомнил...

А гусей мы после боя всё же оприходовали. Не пропали наши гуси.

— После второго ранения я закончил Тамбовское артучилище и в июне 1944 года получил назначение в 366-й Могилёвский ордена Суворова тяжёлый самоходный артиллерийский полк РКК.

ИСУ-152. В полку двадцать одна машина. Командир полка майор Гаевский. В полку я состоял на должности арттехника.

Выгрузились под Одессой на станции Раздельная. Пошли. Под Тирасполем стали напротив Кицканского плацдарма. Постреляли через Днестр, помogli нашей пехоте. Снова пошли.

Вскоре перешли румынскую границу. В Фокшанах четыре наших машины были повреждены. Бой ещё шёл, а мы уже отремонтировали самоходки. За ремонт машин отвечал я.

До Плоешти шли без боёв. Мы шли, а кругом всё горело.

Повернули. Переправились через Дунай и вошли в Болгарию. Болгарский город Силистрия. Болгары нас встретили хорошо — виноградом, вином и цветами.

Недолго мы отдыхали в Болгарии. Пошли в Югославию.

Первый югославский город Заичар. Он расположен в долине. Кругом горы, возвышенности. Наши передовые самоходки с ходу, без поддержки пехоты, ринулись в атаку. Сверху, с горы, мы наблюдали за их атакой. Уже вечерело. И вот вспыхнула одна машина, за ней другая, третья... И так все шесть машин были подбиты.

Немного погодя к Заичару подошли основные силы полка и стрелковые части. Пошли в атаку.

Во время боя я находился в одной из машин. Помню, движемся по улице. Вдруг из одного дома начала бить малокалиберная пушка. Ударили и мы. Расчёт сразу разбежался. В пролом от нашего снаряда сразу полезла пехота. Из подвала вывели девятерых власовцев.

В Заичаре немцев я вообще не видел. Город обороняли власовцы.

Разыскиали мы и наших ребят из подбитых накануне самоходок. Кто в дровах прятался, кто в погребах. Сербы их прятали, никого не выдали власовцам.

— Ротный у нас был большой любитель выпить. И наши гвардейские сто граммов иногда зажимал. А сам напивался. Раз так, перед самой атакой,

поднабрался, что всё ему нипочём, дай только отличиться. Ещё не закончилась артподготовка, поднял нас в атаку. Мы и пошли. Он, правда, тоже с нами. Идёт, с пистолетом, пистолет на отлёте держит, как стакан... Смело идёт, даже головы не гнёт. Пример подаёт. А команда роте была такая: как только займём первую линию немецких окопов, так сразу должны обозначить себя ракетой. Чтобы наша артиллерия перенесла огонь глубже. Ракетника же нашего убило во время атаки. Добежали мы до немецкой траншеи, выбили их. Где ракета? Нет ракеты! И по проводной связи никто в батарее не сообщит, что мы в траншее. Проводную связь ещё не наладили. И наша артиллерия бьёт и бьёт. Вот тут и начались потери. Ввалились мы в их ходы сообщения. Снаряды рвутся. Много наших полегло во время атаки, а тут ещё больше народу побило. Из восьмидесяти человек в нашей автоматной роте в строю после этой атаки осталось только тринадцать.

— Командиром батареи меня назначали несколько раз. Несколько раз назначали и несколько раз снимали. Я ведь был сын “врага народа”. Мой отец, коммунист с 1917 года, в 1920-м вышел из партии добровольно. Его потом посадили. “Особняк” наш об этом всё знал.

Бывало, что и по году командовал батареей, офицерское звание уже имел, а всё же числился *исполняющим обязанности*. Глядишь, нового командира батареи прислали, а меня опять в сторону.

Ладно.

Так однажды на марше, мы уже наступали на Никель, и наступление наше развивалось успешно, приходит старшина и докладывает: “Товарищ лейтенант, прибыл новый командир батареи”. — “Ну, что ж, прибыл так прибыл. Пусть принимает батарею. Имущество числится у тебя, ты и передашь”.

А прибыл капитан. Как же его фамилия? Вспомнил! Страхов! Страхов его фамилия! Сволочь такая! Гад! Пришёл он в батарею. А меня оставили при нём старшим офицером. И что он, этот капитан Страхов, делает! Меняем мы 14-ю дивизию. Ночью меняем. Он мне: “Прокофьев, иди на НП. Возьми с собою разведчиков и иди. А я что-то приболел”. Я и пошёл. Подчиняюсь. Хотя впереди, на НП командира стрелковой роты, которую мы поддерживаем огнём, должен находиться командир миномётной батареи. Чтобы во время боя корректировать огонь. Прихожу. Их там от роты всего человек пятьдесят осталось. Ротный мне: “Утром не высовывайся. Снайпер так и стережёт. Вон сколько наших наваял”.

Командир пехотной роты сидел в небольшом котловане. Когда строили дорогу, там, видимо, брали песок. До войны. Вот там и был оборудован НП.

Миномёты мои позади. Семь расчётов. В то время я уже воевал в батарее 120-миллиметровых миномётов.

Утром к нам приходит командир полка. С ним начальник артиллерии капитан Рыжаков и ещё какие-то офицеры. Комполка издали кричит: “Что, глаза и уши? Проспали? Немец-то — ушёл! А вы ему даже пятки не подмазали!”

Я себе думаю: проспять-то мы проспали, но далеко он не уйдёт. Так и получилось. Погнались мы за отходящим противником, и вскоре передовой батальон завязал бой. А нам, миномётчикам, надо пехоту поддерживать! Капитан Страхов пошёл с разведчиками вперёд. И тут убило командира отделения разведки Просвириякова. Хороший был человек и разведчик. Его убило, а капитан Страхов перепугался, губы растрепал... И он тогда мне ставит такую задачу: Прокофьев, бери, мол, свой взвод и живо выдвигайся вперёд, надо поддерживать пехоту.

А дорога идёт так: в сторону противника пологий спуск, и один участок весь простреливается противником. Чуть только кто появляется, сразу залп артиллерийского огня с той стороны. Пройти невозможно. Я шёл вместе с командиром батальона пехоты капитаном Присяжником. Комбат просит: поддержи моих, проберись как-нибудь через это чёртово открытое пространство! А как тут проберёшься? Других-то дорог, кроме этой, нет. А если куда-то в обход, то это сутки можно проездить. А пехоту за это время всю на той стороне перебьют.

У меня во взводе три упряжки. На двух — миномёты, третья с боеприпасами. Я тогда своим ездовым и расчётам ставлю задачу: “Дистанция сто метров! Аллор, три креста! Вперёд, ребята!”

Ни один снаряд не попал в наши повозки. Проскочили опасный участок. Взрывы остались позади. Ниже немцы уже нас не видели. Продвинулись вперёд ещё километра на три, приняли немного вправо, установили миномёты. Навели связь. Определили точку стояния. Это ж всё нужно сделать грамотно, а то и по своим можно лунануть. Приготовились к бою. И вечером вдруг подъезжает дивизион “катуш”, восемь машин, и становится мне “на голову”. Я говорю командиру дивизиона: “Что ты делаешь? Прими немного куда-нибудь от нашей позиции”. А он: “А что тебе? Мы — гвардейцы. Надо тебе, ты и принимай в сторону. А эта позиция — наша”. Вот тебе и весь хрен! Смотрит свысока! Старший лейтенант!

Ладно, думаю. Мы хоть и не гвардейцы, а тоже из двух миномётов за три минуты тонну боеприпасов на голову немцам перекидываем. За три минуты! Тонну! Представляешь!?

Стали они. Расположились. Позиция-то — хорошая. Переночевали. На утро назначена артподготовка. На восемь часов. А немец-то не дурак! В половине восьмого, когда мы уже изготовились, как он дал по “катушам”! Видимо, засёк ещё с вечера. Они ж сюда лезли, как слоны... У меня были открыты окопы. Для каждого расчёта. А гвардейцы-то окопов не копают, руки не пачкают. Я в ровике с ребятами своими сижу. Смотрю, гвардейцы как повалились на нас сверху! Я кричу: “Да вы, братцы, нас тут живём задавите! Откуда столько народу?” А рядом со мною миномётчик лежит, командир первого расчёта, и говорит он мне: “А это, товарищ лейтенант, наши гвардейцы. Они без окопов воюют. Когда прижмёт, в чужих норвоят схорониться”.

Они-то сами схоронились. А две их машины разбило. Мины сползли вниз. А остальные, смотрим, не отстрелявшись, начали уезжать. И раненых своих побросали. И мешки, и другое кое-какое имущество. Раненых мы перевязали, отправили в тыл. Ровно в восемь провели артподготовку. Пехота наша осмелела, смотрим, пошла вперёд.

Пехота пошла, а мы её поддерживали огнём. Связь-то налажена. Куда надо, туда и кидали мины. Стрелять в тот день на нашем участке пришлось нам одним. Что ж, мы и отстрелялись. Нам только мины подвози. За три минуты — тонну! Да обед не забывай вовремя доставлять. А остальное — наше дело.

За эти бои, за точную стрельбу, начальник артиллерии полка приказал командиру батареи написать на меня представление к награде орденом Отечественной войны. А капитан Страхов, тот самый сукин сын, который вперёд вместо себя меня послал, — что ты думаешь, а? — вместе с представлением пишет, что я его будто бы обложил матом. Ну, может, где-то и сказал ему что... Что он заслуживал. А что ж он хотел? В тылу отсидеться, и чтобы ему никто ничего не сказал? Представление моё на орден где-то по пути в штаб дивизии застряло, а донесение пошло. Начальник артиллерии дивизии читает его и делает такую резолюцию: лейтенанта, мол, Прокофьева судить судом офицерской чести. Сук-кины они дети! Вот какой орден они мне решили вручить!

А я в полку уже два года с лишним. Почти всегда в бою. Воевал хорошо. Мои расчёты всегда стреляли неплохо. Ребята, офицеры полка, и говорят: знаем мы, мол, лейтенанта Прокофьева, не за что его судить. Судить меня не стали. А то бы пошёл я прямым в штрафную роту рядовым солдатом. Судить не стали, но награды лишили. Наградной лист в штабе дивизии порвали.

Ко мне и шпиона засылали. Приходит раз солдат с пополнения. И вдруг при мне заводит такой разговор: “Немцы воюют лучше”. Я ему и говорю: “Ты тут язык прижми. Тебе-то самому кто мешает воевать лучше немцев?” — “А что я такого сказал?” — “А вот что. Мы ещё не знаем, что ты за человек... И какой ты солдат, в бою увидим. А что касается нашей батареи, то мы немцев больше бьём, чем они нас”. Правда, сразу же рот прикрыл. Но долго тишком всё вынюхивал. Ребята потом мне, то один, то дру-

гой: про тебя, мол, лейтенант, всё выпытывает. А потом солдат тот неожиданно пропал. И “особняк” наш меня вызывал, “два ноля”, как мы его звали. Но тот ласковый такой гад, скользкий. Что и спросит, сразу не поймёшь, к чему, сволочь, клонит. Прямо не скажет: ты, Прокофьев, сукин сын такой-сякой, чтобы порядок и дисциплину держал, а то я тебя в штрафную!.. Нет, скучаю ли по дому, да какое настроение у бойцов?.. Какое у бойцов настроение... Немцев поскорее угондобить! Вот какое настроение, говорю ему. Посмеётся, сигаретку помнёт и опять: а что из дому пишут? Тыфу! Как будто я дурак такой, что тут же и душу свою ему выложу!

Конечно, я понимаю, человек я и на фронте был непростой. Анкета с изьянцем. Да и характер у меня такой — прямой, как добросовестно выструганная оглобля. Если что, так прямо и скажу: замудонец ты последний! Будь там хоть мой заряжающий или сам капитан Страхов. И никто на меня зла и обиды не держал. Кроме капитана Страхова.

Поэтому с солдатами и офицерами, с кем мы вместе месили дороги войны, отношения у меня были хорошие, боевые. Никого я никогда не предал, ни за чью спину не прятался, никого под пули не подставлял. Когда надо было идти в пекло самому, шёл, не придумывал, что у меня живот болит. А на передовой это сразу видно.

Долго я злился на капитана Страхова. Нет, не за орден. Хрен с ним, думаю, с орденом. Жив буду, ордена от меня не уйдут. Так оно, кстати, и вышло. Ордена-то, вон они! А Отечественной войны — целых два! Но капитана Страхова я ненавидел. За подлость его. Подопью, бывало, и думаю: ну, если сейчас в бой, пристрелю, собаку. Даже, помню, пистолет, свой безотказный ТТ, специально чистил и смазывал, на боевой взвод ставил... Так меня ранила его несправедливость.

Против нас стояли финские части. И немецкие горные стрелки. На пилотке у них был беленький цветок, эдельвейс. Эмблема такая. У убитых видел.

А сталинским соколам я простил. Когда в сорок четвёртом мы уже вовсю наступали, на Мурманском направлении увидел я однажды такую картину.

Видимо, шла немецкая колонна. Растянута она была километров на пятнадцать. И вся была разбита и положена. И люди валялись — сотнями. И техника — машины, тягачи. Разбитые орудия. И мотоциклы, и велосипеды. Наши “горбатые” атаквали злее, чем их штурмовики “Ю-87”. А навстречу нам шли пленные немцы. Но, надо сказать, они и пленные форс держали. А может, рады были, что выжили, что не валялись вот так, как их братья и однополчане, по обочинам дорог.

А тут, после Победы, приехал домой. Спрашивают: “Где ты воевал?” — “В Заполярье”, — говорю. Смотрят недоумённо и опять: “А разве там война была?” Инженер! В дорожном отделе — инженер. Я там работал тогда. Посмотрел я на него: “Там мы, — говорю, — пирогами с немцем кидались. Мои пироги — сто двадцать миллиметров! Все как один!” Замолчал. А тут сестра родная: “Ты был в артиллерии?” — “Да, в артиллерии”. — “Немца-то живого видел?” Тыфу ты, думаю! Хуже капитана Страхова...

Немца... живого... Повидал всякого — и живого, и мёртвого.

А миномёты наши были хорошие. Ста двадцати! Как дадим! Батарейка за одну минуту тонну мин к немцам перекидывала! Не хуже гвардейских били. Гвардейцы — что? Отстрелялись, залп сделали и — ходу. В тыл. А мы всегда рядом с пехотой.

— Вошли мы в Восточную Пруссию.

На прорыв шли в сплошном тумане. Возможности использования тяжёлой техники почти не было. Авиация находилась на аэродромах. И танки, и бронетранспортёры, и “катюши” шли позади нас. Мы продвинемся на километр-два, и они на километр-два следом за нами. В бой их не вводили. А потом, когда мы прорвали на всю глубину, танки в этот прорыв и пошли сплошной лавиной. Ночью, со включёнными фарами. В тумане. Они шли, обгоняя нас, часов пять или шесть. Почти всю ночь. Мы смотрели на этот грохочущий поток и думали: ну, пошла махина, теперь не остановишь. Утром мы двинулись следом за ними.

Вот так была отрезана Восточная Пруссия от Центральной Германии.

Первую деревню мы взяли — там всего две старухи, древние-предревные. “Где же народ?” — мы их спрашиваем. А они нам: “Ушли все. Нам сказали: придут русские, с рогами, всех будут убивать и вешать. Уходите. Вот все и ушли. А мы уже старые, смерти не боимся”. Подошли к нам, потрогали, убедились: не черти, рогов нет. Дальше больше стали немцы появляться.

— На фронте вся сохранность есть земля. Чуть что — окоп выкопал, и уже ничем тебя не взять. Лопата на фронте — главное оружие солдата. Не успел окопаться — и нет тебя при первом же обстреле. Лопата, ложка, котелок. Никогда не видел — а я до самого Берлина дошёл! — чтобы солдат где-нибудь бросил лопату, ложку или котелок. Всё, бывало, бросали, а это — никогда.

— В Восточную Пруссию мы, можно сказать, заползли на пузе. Немец там сопротивлялся особенно сильно.

Тут, в Восточной Пруссии, меня поразило вот что. В каждой деревне, в каждом дворе много скота. У одной хозяйки, может, десять или пятнадцать коров. Видать, со всего Советского Союза сюда коровушек согнали. Со всей оккупированной территории. На фермах работали наши люди. Угнанные. Девчушки наши, по пятнадцати-семнадцати лет. Из наших русских областей, Белоруссии, Украины. В рабстве у них были.

Среди хозяев мужчин не было. Видимо, всех призвали в армию, все воевали.

— На реке Пилице сменили нас части Войска Польского. Бывало как: своим сдавали то, что имели сами. А полякам приказано было сдать оборону в образцовом виде. Траншеи и ячейки копали всю ночь.

Утром они подошли. Оружие у поляков хорошее. Новое всё. Кроме автоматов, много пулемётов и миномёты. Ну, думаем, эти постоят. А у нас уже много потерь было. Из вооружения — одни автоматы. Пулемётов — раз-два и обчёлся...

Но мы рады, что — во второй эшелон, что — на отдых, что — живы.

— В Познани. Город мы полностью ещё не взяли. Одним махом не получилось. Стояли напротив немецкого госпиталя. Командир пронюхал это дело и говорит мне: “Так, Жаворонков, там должна быть водка. Или спирт”. И послал меня разведать и, если что есть, принести.

Приказ есть приказ. Его надо исполнять. Пошёл, делать нечего. Иду. Познань горит. Отблески от пожаров играют на стенах домов, высвечивают дорогу. Дело было в феврале сорок пятого года.

Подхожу я к госпиталю. Немцев нет. Вошёл в госпиталь. Меня встретили врачи. Сразу, я ещё не сказал ни слова, выложили на стол свои пистолеты. Пистолеты миниатюрные, разных систем. Я им показываю: найн, мол, мне этого не надобно. Они переглянулись, пожалы плечами. Я им тогда: “Шнапс!” Тогда один из врачей повернулся и ушёл. Вскоре вернулся. Протягивает мне бутылку коньяка. Я ему: “Данке”. Повернулся и пошёл. Пистолеты их остались лежать на столе.

Пришёл я к командиру роты, отдал бутылку. А мне так спать хотелось! Я потом прилёг где-то. Даже не прилёг, нет, сел и сидя тут же уснул. А в те дни за удачную проведённую разведку ротный подарил мне новенький ППС — пистолет-пулемёт Судаева. Он без приклада. Приклад откидывался, как у нынешних Калашниковых. Магазин рожковый. И, покуда я спал сном праведника, мой пистолет-пулемёт кто-то у меня спулемётит! Проснулся, хватать-хватать, а ведь я — безоружен! Хорошо, что у меня был бельгийский пистолет и несколько горстей патронов к нему. Подарил мне его один солдат: “На, товарищ гвардии сержант, тебе он, в разведке, пригодится больше”. Вот с этим бельгийским пистолетом я дня четыре и воевал. Пока не нашёл себе новый автомат, простой ПППШ, с которым провоевал уже почти полтора года.

Но до того, как уснуть, я ещё раз сходил “в разведку”.

Офицеры бутылку коньяка выпили быстро. Что им — одна бутылка? Мало. Посылают меня опять. Мне бы зайти за угол, да постоять там с полчаса, а там вернуться и сказать: нету, мол, больше ни коньяку, ни водки... А я, дурак, пошёл опять в госпиталь. К немцам. Прихожу. А уже стыдно: вот, мол, ещё пришёл... Я опять врачу: так, мол, и так, шнапсу ещё командирам надо. А он: “Найн!” Ну, “найн” так “найн”. Я повернулся и пошёл. И сразу мне легче стало.

Да, чуть не забыл! Вот что со мною приключилось по дороге в госпиталь.

Иду в темноте, а навстречу мне, из темноты, вдруг вынырнул немец. С автоматом, в каске. Я его узнал по каске и нашивкам. У них на левом рукаве шинели нашивки клинышками... Блеснули в темноте нашивки, и я подумал: это ж немец пошёл... И я, и он на мгновение остановились, посмотрели друг на друга. И пошли дальше — каждый своей дорогой. Никто не схватился за автомат. Я-то, понятно, в какую разведку ходил. А вот чего немцу не спалось? А видать, тоже разведчик был.

Командиру роты я доложил: нету больше. Ну, говорит, нету так нету. С тем он меня и отпустил. А я иду и думаю: зачем же я, дурак, ходил туда! Совесть свою, русскую, из-за вас, пьяниц, мучил!

— В Познани наш взвод наскочил на пулемёт. Наступали вдоль домов. Обычный уличный бой. Продвигались хорошо. Немцы где начнут стрельбу, мы тут же — из всех стволов. Ребята зайдут, пару гранат бросят, и дальше пошли. А тут — прихватил нас... Вперёд — ни шагу. Режет, сволочь, длинными очередями. И стреляет точно, со знанием дела. Чуть кто из наших ребят голову поднимет, или перекатится в сторону, к тротуарному брусу, смотришь, уже в луже крови лежит.

Мы отползли и начали обходить его сбоку. Но к самому пулемёту подойти всё же не можем. И гранату кинуть нельзя — стена. А слышим, как рядом совсем, вот, за стеной, лупит. А как его достать? Тогда мы пробрили стену, пролезли туда и схватили этого пулемётчика. Оказалось — власовец! Нашивки на рукаве — РОА. Русская освободительная армия. Схватили мы этого освободителя, поволокли. А вторым номером у него немец был. Ребята его сразу застрелили. А этого затащили на седьмой этаж и сбросили вниз. Когда вытолкнули на балкон, и он всё понял, как заплачет! Что-то он пытался сказать. Но кто его будет слушать, когда он столько наших ребят положил?!

— Вислу мы форсировали и начали расширять плацдарм. В то время я был уже помощником командира автоматного взвода. Звание — сержант.

После небольшой артподготовки рота пошла в атаку. Немцы, видимо, знали, что мы будем атаковать, и, чтобы не попасть под огонь нашей артиллерии, первую линию траншей и окопов оставили без боя. Отошли во вторую линию. Там у них была более выгодная позиция. Возвышенность. И с неё-то они простреливали перед собою по фронту буквально всё.

Заняли мы немецкую траншею.

А нашего командира взвода, лейтенанта, во время атаки ранило в обе руки. И командование взводом пришлось принять на себя мне.

Подморозило. А когда бежали в цепи и стреляли по отступающим немцам, я вгорячах рукавицы где-то и бросил. И теперь руки стали замерзать.

Занял позицию на правом фланге взвода. Справа от меня — соседний взвод. Поднялись. Пошли. Впереди — второй эшелон немецких траншей. Они долго не стреляли. Подпускали на верный выстрел. И вот ударили. И цепи наши сразу положили. Наш взвод оказался ближе других к немецким траншеям. Ротная цепь вначале шла ровно, а потом сломалась клином. Как журавли мы на них летели...

Я вначале подумал, что мои автоматчики просто не выдержали и залегли. Немцы стреляли из пулемётов. Стреляли почти беспрерывно. Пулемёт есть пулемёт. Это — не автомат. Залёг и я. Не бежать же в атаку одному, хоть я и исполняю обязанности командира взвода. Но вскоре я понял: взвод-

то мой почти целиком расстрелян и я тут, перед немецкой траншеей, остался один! Лежу. Наблюдаю. Сердце моё колотится. Стрельбу они немного ослабили. Задвигались. Закричали. Это уже верный знак: к контратаке готовится. Гляжу, и правда, поднимаются. Прикинул: шагив сто до них. Что ж, думаю, никто из моих ребят не стреляет? Ведь кто-то же есть живой! А немцы — идут. Тогда я приподнялся и с колена прицельно дал несколько очередей. Посмотрел направо: соседний взвод тоже без лейтенанта, и тоже уже отступает — бегут ребята что есть мочи! Только шинели заворачиваются! Пули вокруг меня — цив-цив! Я опять залёг. Лёг за труп своего товарища. А немцы опять встали и идут. Я снова вскочил, выпустил последние патроны и рванул к своим.

Бегу. По мне стреляют. Но стреляют уже другие. А эти, которые на меня шли, больше уже не вставали. Видимо, я их срезал последней очередью.

Прибежали мы, кто остался живой. Ротный нас встретил, говорит мне: “Молодец! Достоин высокой награды!”

Вот, думаю, за удачные атаки не награждали, а тут...

Ко мне ребята стали собираться, остатки взвода. У одного глаз выбит, висит, и он его в ладони придерживает. А другой, из недавнего пополнения: “Меня, товарищ сержант, в руку вроде ранило”. — И вертит своей перебитой рукой туда-сюда. В горячке. Я и сам ещё плохо соображал.

На нейтральной полосе вскоре всё утихло. Немцы больше не контратаковали. Из взвода нашего больше никто не вернулся.

— Утром 7 мая нашему полку был зачитан приказ о штурме Севастополя.

На боевое задание я вылетел в самолёте командира группы штурмана полка Коновалова. Я к нему спросился сам. У него стрелок заболел.

Мы должны были нанести удар по артиллерийским позициям немцев юго-западнее Сапун-горы. Немцы там закрепились основательно и не давали нашим войскам продвинуться вперёд.

Взлетели. Видно, как с других направлений на Севастополь идут группы бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей. Некоторые уже возвращаются с задания. В эфире иногда узнаём голоса знакомых лётчиков. Впервые наблюдаю в воздухе такое количество самолётов одновременно.

В воздухе к тому времени уже установилось наше превосходство. Но дрались немцы по-прежнему отчаянно и смело. Зенитки же не стали за это время менее опасными. Смотри и смотри.

Подходим к Севастополю. Город весь в дыму. Видны очертания береговой линии, бухта. Вдали, слева — Херсонес. Коновалов докладывает на КП генералу о готовности группы: “Я — Стрела-три! Уточните цель!” — “Стрела-три! Из района северо-западнее Балаклавы ведут огонь батареи противника. Заставьте их замолчать!”

Еще до подхода к Сапун-горе наша группа начала противозенитный манёвр. Зенитные снаряды рвутся со всех сторон. Коновалов умело маневрирует, по радио подсказывает лётчикам, как действовать. Зенитный огонь всё плотнее. Но и нам дороги обратной уже нет. Проскочили без потерь.

Поворачиваю голову, хочу посмотреть вперёд. Стелок в Ил-2 всегда сидит лицом назад, спиной к пилоту. Должен прикрывать машину сзади. Но вперёд тоже посмотреть охота.

Виднеется Балаклава. Северо-западнее от неё те самые артиллерийские батареи. Видно, как они беспрерывно стреляют в сторону наших позиций. “Илы” снижаются. Так, значит, атакуем с ходу. Бьём из пушек. Затем пускаем реактивные снаряды. С пикирования бросаем бомбы. Три батареи замолкают. Делаем второй заход. Хотя в воздухе полное наше превосходство и нас плотно и старательно прикрывают истребители, я внимательно слежу за обстановкой. Вот, наконец, отработали. Теперь — домой. Поскорее на базу. Стрелять пока не пришлось, но спина потная от напряжения.

Возвращаюсь. Со стороны солнца появились две точки. Солнце бьёт в глаза даже через светофильтры очков, но я уже вижу: истребители, и не наши. Вот они перестраиваются для атаки и пикируют на нашу группу. Смелые, сволочи.

В эти дни, последние дни боёв за Севастополь, немецкими истребителями командовал обер-лейтенант люфтваффе Эрих Хартман — ас номер один Германии. Командир 9-й особой эскадрильи 52-й истребительной эскадры. Так что мы имели дело с лучшими экипажами противника. О Хартмане я узнал уже после войны, когда работал в Германии. А о том, как они умели воевать, знал уже тогда, на фронте.

Включаю переговорное устройство, кричу: “Манёвр!” Но Коновалов командует штурмовиками группы и меня не слышит. Когда у нас включён передатчик, приёмник не работает, такая уж радиотехника была. Я включаю световую сигнализацию: на приборной доске лётчика мигает красный свет — предупреждение об опасности. Коновалов не реагирует, и “мессы” берут наш самолёт в клещи. У меня один выход — уничтожить истребителя, атакующего первым, а потом, если повезёт, отпугнуть огнём второго. Но ничего не выходит: немец атакует грамотно, сближается с нами под большим углом, так что вертикальный угол обстрела моего пулемёта не позволяет стрелять по нему. Угол атаки он контролирует, не подставляется. Что делать? Мгновенно сбрасываю сиденье, становлюсь на колени на дно кабины и доворачиваю ствол пулемёта на угол, не предусмотренный тактико-техническими данными “Ила”. Огня пока не открываю, надеясь, что немец пока не понял, что ситуация изменилась. Он всё так же, под углом, подходит к нам ближе. Видать, думаю, не одного нашего “горбатого” так свалил. Со знанием дела подходит. Восемьсот метров, шестьсот, четыреста... Я прицеливаюсь особенно тщательно, так как знаю — второй очереди просто не будет. И вот моя огненная трасса прочертила в воздухе и сразу же упёрлась в самолёт противника. Не успевая выстрелить, он вспыхивает и, весь охваченный пламенем, не меняя направления, несётся на наш “Ил”. К счастью, после моей очереди Коновалов резко рванул самолёт вправо, и горящий “мессершмитт” пронёсся совсем рядом.

Тем временем второй истребитель приблизился к нам справа и дал очередь. Снаряд попал в антенну. Осколки угодили в кабину. Задели на мне шлемофон. Я рванул пулемёт влево. Увидел в каких-то ста метрах выходящий из атаки вверх закопченный жёлтый “мессер” с чёрными крестами. Нажал гашетку и стрелял, пока пулемёт не отказал. Меня прижало к пулемёту и вытягивало из кабины. Понял, что наш самолёт сбит и стремительно падает. Хватаюсь обеими руками за турель. И тут перегрузка сразу уменьшается, и наш “Ил” переходит в горизонтальный полёт. Хвостовое оперение разбито, в фюзеляже две пробоины. А земля, вот она, совсем рядом.

Командир сидит согнувшись. Но самолёт ведёт уверенно. Мотор работает, кажется, нормально. Коновалов оборачивается, и я вижу его окровавленное лицо. Капли крови брызгают на фонарь кабины. Но он показывает большой палец: самочувствие хорошее, машина в порядке.

Я — опять к пулемёту. Задержка произошла из-за разрыва гильзы. Вытаскиваю гильзу. Наш “Ил” несётся низко над землёй в сторону моря, к Балаклаве. Где другие наши самолёты? Не вижу никого. Мы одни. Истребители нас отбили от группы. Несёмся вдоль моря. Затем Коновалов поворачивает на север. Прижимаемся к горной гряде. Прячемся.

И тут я заметил: пара “мессершмиттов” идёт вдоль берега со стороны мыса Херсонес. Повернул голову: ага, а вон и наши, тоже пара — “Яки”. Но — как далеко! А “мессы” уже перестраиваются для атаки. Я открыл огонь по ближайшему — лишь бы отогнать, выиграть время. Кажется, получилось. Истребитель прекратил атаку и начал набирать высоту. Но тут же его перехватил подоспевший “Як”, дал длинную очередь. Немец задымил. Война: только что был охотником, и вот уже — добыча другого охотника, более смелого и удачливого. Второй “мессершмитт” отвернул и исчез, не стал искушать судьбу.

Но, пока мы отбивались от “мессершмиттов” на подбитом, плохо слушающемся рулей штурмовике, оказались в ущелье. Положение... Справа и слева — горы, впереди тоже гора. Коновалов пытается набрать высоту. Трудно набрать высоту, когда скорость мала и самолёт так и швыряет из стороны в сторону. Чувствую, летим как-то боком. Переваливаем через хребет буквально в нескольких метрах от скал. Разворачиваемся и берём курс на север.

Над нами — пара “Яков”. Они сопровождают нас до Симферополя и потом уходят на свой аэродром.

Мимо нас пролетают самолёты в направлении Севастополя. Свежие группы — на штурмовку.

Плавню снижаемся, тянем к своему аэродрому. Коновалов ведёт самолёт на самом экономном режиме. Вот-вот кончится горючее — лишь бы дотянуть.

И вот наш аэродром, ровное зелёное поле, землянка КП, радиостанция, самолёты на стоянках. У КП толпятся люди. Стоит машина с красным крестом. Нас ждут. Как же не ждать, командир группы с задания не вернулся.

Коновалов выпускает шасси и заходит на посадку. Но не садится, уходит на второй круг. Вот оно что: внизу левая часть знака “Т” завёрнута — запрет посадки. Не вышло левое колесо. Коновалов уходит на второй заход и знаком подаёт мне команду покинуть самолёт при помощи парашюта. Но я не решаюсь: прыгать с парашютом мне ещё не приходилось. Тогда Коновалов показывает знаком, что будет сажать самолёт на одно колесо. Я хватаюсь за борта кабины: если перевернёмся, так больше шансов уцелеть. Коновалов лётчик опытный. Самолёт уже бежит по земле, но, чем сильнее теряет скорость, тем сильнее клонится влево. Задевает консолью крыла землю. Однако скорость уже безопасная. Уже не опрокинемся. Не опрокинемся... Не опрокинемся... А значит — живём! Нас разворачивает на сто восемьдесят градусов. Самолёт замирает. Сели. Живём! Твою-мать!..

Я бросился к кабине командира. Коновалов сидит, устало откинувшись к бронеспинке. Ранение у него неопасное. Однако потеря крови сказалась, ослаб и выбраться из кабины сам не может.

Тем временем на “стартере” подъехал командир полка. Коновалов доложил, что группа задание выполнила: батареи противника подавлены, были атакованы истребителями противника, один “мессершмитт” сбит. И кивнул на меня.

Комполка выслушал доклад, улыбнулся: “А что вы там ещё натворили? Пришёл запрос на вас!”

Мы с Коноваловым переглянулись. А комполка и говорит: “Ваш бой неблюдали многие. Почему не докладываешь, как второго “месса” срубили?” Мы с Коноваловым снова переглянулись. “Ладно, ладно... Командование дивизии приказало представить вас к наградам”. Вот так, оказывается, второго “месса” мы тоже свалили. Напоролся он на мою очередь. А нам было не до него, не увидели мы, как он падал. Сами чуть не грохнулись.

За этот бой я получил второй орден Славы.

1945 ГОД

— Первого декабря сорок четвёртого года, после второго ранения, я попал на курсы младших лейтенантов. Три месяца ускоренной учёбы. Нам прилепили по одной звёздочке и — на фронт. Назначение я получил в 1297-й стрелковый полк 160-й дивизии.

Бои уже шли в Польше. Мы шли на Гдыню-Данциг. Там мы окружили довольно большую группировку немцев. Но окружили их с суши, а с моря — нет. И они продолжали сражаться. Наша дивизия ударила в центр группировки с целью расчленив её. Впереди перед нами лежал город Сопот. Там я впервые в жизни увидел море.

Но до моря было вот какое дело...

Местность под Сопотом лесистая. Артиллерию применить было нельзя. Мы с немцами сошлись так близко, что стрелять артиллеристы не решились, чтобы не перебить своих. Мой взвод был правифланговым в батальоне. Взводу придали расчёт станкового пулемёта. Справа шёл другой батальон. Вот стык наших батальонов и должен был прикрывать этот пулемёт.

Шли лесом. Впереди — овраг. И вдруг из-за оврага немцы открыли сильный огонь из пулемётов и автоматов. Мы сразу залегли. Моя позиция оказалась как раз перед оврагом. Спуск в овраг пологий. Я приказал пуле-

мётчикам, чтобы контролировали перед собою по фронту противоположную сторону оврага и не пускали немцев сюда, если те вздумают контратаковать.

Расставил я свой взвод, жду. А слева от меня, смотрю, другие взводы нашей роты поднимаются и, отстреливаясь, начали отходить. Я встал за деревом. Бегут пулемётчики соседнего взвода. “Куда? — кричу им. — Быстро ко мне! Устанавливайте пулемёт и бейте вдоль оврага!” Те послушались. Быстро развернули “максим” и начали стрелять.

А немцы уже полезли в ложину. Но мы их остановили. Когда согласованно лупят два пулемёта с флангов, трудно преодолеть их огонь.

Лежим. Одну атаку отбили, ждём новой. Пулемётчики соседнего взвода рядом со мной. Второй номер заправил новую ленту. И вдруг — взрыв! “Максим” — кверху колёсами! Первого номера отбросило. Живой он остался или его тогда убило, я так и не узнал. Второй номер невредимый. А у меня от близкого взрыва такой шум в голове, что я и соображать-то стал плохо.

Оказывается, немец подполз к нашей позиции и выстрелил из фаустпатрона. Но, счастье наше, немного промахнулся. Граната ударила в дерево и разорвалась поодаль. Я — к пулемётчику. Перевернули мы пулемёт, поправили ленту. Я лёг за гашетку. Немцы уже поёрли. И начал я стрелять. Стреляли мы по ним почти в упор. И опять отбили.

Я лежу и думаю: что ж это за части нас контратакуют так жесточно? Совсем с потерями не считаются, напролом идут. Неподальёку, на краю оврага, лежит офицер. Не добежал до нас совсем немного. Я подполз к нему. На фуражке череп с костями. Так это же СС! Я снял с убитого часы. Хорошие, швейцарские часы. Долго потом, уже после войны, носил их.

Погода приходит связной из соседнего взвода: “А вы здесь?!” — И смотрит на нас и на трупы немцев удивлёнными глазами. “Мы-то здесь, а вот вы где?” — “А мы, товарищ лейтенант, за лесом”, — как ни в чём не бывало отвечает он. Мы с пулемётчиком даже засмеялись.

Собрались мы все. Командир роты пришёл. Перешли овраг. Немцы оттуда ушли в Сопот. Теперь предстояло атаковать Сопот. Там меня и ранило.

...А ранило меня вот как.

Ворвались мы в Сопот. Отбили у немцев костёл. Костёл мы брали, мой взвод. Дальше пошли. От дома к дому. В одном месте спустились в подвал. В подвале много народу. Поляки. Когда мы вошли, поляки сразу протянули нам навстречу руки. Что такое? В руках, смотрим, часы и разная ерунда. Э-э, да нам, говорим, этого ничего не надо! Кое-как объяснили им, что мы не мародёрничаем, а немцев ищем. Воюем. Тогда они сказали, что немцев в подвале нет.

Вышли мы из подвала. Пошли дальше. Слева по улице стоит наш подбитый танк, “тридцатьчетвёрка”. Башня у неё вывернута и ствол пушки упёрся прямо в мостовую. Видимо, внутри был сильный взрыв. Под танком лежит танкист. Увидел меня, позвал: “Браток, пристрели”. Это он мне такое говорит. Я ему: “Да что ты? Мы тебя сейчас вытащим. В тыл отправим”. — “Меня уже никто не вытащит и не спасёт. Пристрели. Прошу тебя. Сил моих больше нет. Вон, посмотри, на той стороне улицы сколько наших лежит. Пытались меня вытащить. И экипаж мой весь там”. Я посмотрел через улицу — правда, лежат трупы наших бойцов и несколько танкистов. Я ему опять: “Потерпи, дружище. Поверь, уж я-то тебя вытащу”. И так мне захотелось вытащить, спасти этого танкиста! Что ж, думаю, придумать?

Смотрю, идёт двуколка. Колёса у телеги широкие. В телеге двое гражданских. Подъехали к танку, развернули двуколку. Подняли мы танкиста и положили в повозку. А ноги у него болтаются, перебиты. И пока мы грузили танкиста, ни один немец с той стороны не сделал ни одного выстрела. Дома напротив, откуда только что вёлся сильный огонь, как будто вымерли. И снайперы там сидели, и пулемётчики. А вот ни один не выстрелил.

Двуколка с двумя гражданскими и раненым танкистом уехала. И тут снова загремело.

Пошли мы дальше. Идём. И вдруг я стал валиться. И повалился на мостовую. Что это, думаю, со мною? Зачем это я повалился? Схватился за

грудь. Потому что почувствовал, что вроде как воздуха не хватает... И встать уже не могу.

Мы ж там, между домов и в переулках, из-за угла друг в друга стреляли. Почти в упор. Так что просмотрел я своего противника. Офицер. Выскочил из-за угла и выстрелил из пистолета. опередил меня. Это потом мне ребята рассказали.

Бойцы мои меня подхватили. “Командир, что с тобой? Командир, ты ранен?” Я хочу им что-то сказать, а у меня кровь изо рта. Хлюпает в горле, печёнками выходит. Всё, думаю, вот меня и убило... Видел я, как после таких ранений умирали.

А солдаты у меня во взводе были ребята бывалые. Некоторые из-под Вязьмы шли, в сорок втором в окружении там побывали. Может, слышали что про 33-ю армию да про её командующего, генерала Ефремова? Наша 160-я стрелковая дивизия вместе с Ефремовым и погибала тогда под Вязьмой. А я в неё пришёл уже позже. Так вот, ребята гимнастёрку на груди разорвали, бинтами рану перемотали, чтобы кровью не изошёл. Понесли в тыл. Они-то меня и спасли.

Это было зимой 1945 года. Третье ранение. Слепое пулевое. Пуля до сих пор сидит в лёгком. Доктора говорят: трогать, мол, не надо, она там вроде как обросла и прижилась. И правда, не беспокоит.

— Наступали мы так быстро, что наша артиллерия иногда не успевала перенести огонь в глубину немецкой обороны и попадала по нашим атакующим цепям. Помню, заняли мы немецкую конюшню. Расположились в ней. И тут — залп “катюш”. Кругом всё загорелось. Только отстрелялись наши реактивные миномёты, немецкие орудия начали бить. Бьют прицельно, снаряды ложатся всё точнее и точнее. Тут мы смекнули, что из конюшни надо уходить. Пристреляли — сейчас накроют. Выскочили. Рассыпались в цепь. Прочесали поле, стали переходить ручей. И в одной из промоин поймали затаившегося немца. У него рация, листок с таблицами расчётов. Корректировщик! Это ж он нас выкурил из конюшни! Лицо и руки его были вымазаны илом и какой-то зеленью вроде краски. Когда его прихватили, он тут же стал показывать на пальцах: “Драй!.. Драй киндер! Драй киндер!” Ребята: “А кто же пожалел наших детей?” — И — из автомата его, прямо там, в яме.

Прошли мы ещё немного. Нас догнала самоходка ИСУ-152. Тяжёлый калибр. Остановилась. Командир вылез из люка: “Садись, пехота!” Мы сели. Нам, пехоте, наступать с артиллерией, да ещё у неё на закорках, легче. И им с пехотой — тоже. Командир самоходки нам и говорит: “Увидите пулемёт или орудие, стреляйте туда трассирующими. А мы уже — по вашим трассам...”

Едем. Вроде всё хорошо. Удобно. Наступаем быстро, даже с комфортом. Не пешком всё же... Смотрим, немецкий пулемёт заработал. Мы стали стрелять по нему. Постучали по броне. Самоходка остановилась, немного развернулась, опустила ствол и — как даст по тому пулемёту, что мы сразу с брони все и попадали. Ну её к чёртовой матери, эту самоходку! Все задницы нам поотбивало. Пошли в наступление пешком. Дело привычное. Для пехоты лучший транспорт — ноги.

— Второй раз меня ранило в Польше. Я тогда воевал уже в кавалерии. В бой мы ходили как пехота. Оставляли лошадей коноводам, а сами — вперёд. Вооружены были автоматами ППП. А передвигались на лошадях. Переходы делали большие и довольно быстро. Поэтому кавалеристские части были очень маневренными. Часто именно мы замыкали “котлы”.

В тот день мы атаковали польский город Радом. Наша цепь шла по окраине города, по огородам. Впереди уже показались какие-то строения, где можно было укрыться. И тут ударил их миномёт. Один разрыв, другой, третий... А мы на открытом пространстве. Чувствую, в живот толкнуло.

Упал. Лежу. Потрогал живот — кровь. Думаю: в живот ранило — плохо. Ребята подхватили, поволокли...

Потом, в госпитале, на операционном столе, лежал и наблюдал в отражатель лампы, как хирург перебирал через руку мои кишки. Операцию де-

дали без наркоза. Сунули мне в рот кляп, чтобы зубы не подробил, и начали резать и вычищать.

В Польше немец был уже не тот. Под Сталинградом он дрался не на жизнь, а на смерть.

— На фронт я пошёл добровольцем. Хотелось мне, хохлацкого и казацкого происхождения, попасть в кавалерию. Поэтому я долго просидел на пересыльном пункте в Солнечногорске. Всё ждал, когда же придут вербовщики из кавалерийской части? Мало нас там осталось, человек пятнадцать. Всех разобрали. И тут приезжает мичман с Балтийского флота. Приехал и давай с комендантом ругаться: почему, говорит, людей на пересыльном пункте нет? Я, говорит, у тебя должен забрать семьдесят два человека, а тут только пятнадцать! Комендант: недобор, мол, то да сё... “Ну, ладно, составляй строёвку”. А я тогда уже состоял писарем на пересыльном пункте. Грамотных было мало. Составляю я список, а себя не вписываю. Мичман мне: “А где твоя фамилия?” Я ему: так, мол, и так, в кавалерию решил... “Дурья твоя голова! — он — мне. — Какая кавалерия?! Война другая пошла! Ты знаешь, что любой захудалый матрос на голову выше самого лучшего солдата?!” Я и согласился.

Учебный экипаж в Петергофе. Учили меня на баталёра. Это — капитанармус и помощник старшины. Одновременно изучал медицину. Приобретал специальность санинструктора. В бою должен был оказывать первую медицинскую помощь.

Оставалось мне совсем немного. Уже стали водить на корабли. Но вскоре отчислили из экипажа и направили в отдельный десантный батальон морской пехоты. Отчислили вот за что: однажды в увольнении мы, несколько моряков, подшутили над женщиной-милиционером — отняли у неё наган. Она заплакала. Наган мы ей вернули. Извинились даже. А она возьми да и доложи о происшествии. Шутку не восприняла...

В феврале 1945 года мы уже брали штурмом Инстербург. Городок небольшой. Старая крепость.

До нас немцы уже отбили несколько атак. наших много полегло. Стрелковый полк наступал. Выдохлись. В штабе 87-й дивизии стали решать: кого? А кого? Давай полундру.

Подняли наш 88-й сводный десантный батальон. Подвели на исходные. Все ребята были ловкие. Не один бой прошли. Ворвались. О, там было дело...

Рукопашная. Это не расскажешь. Ты хоть раз слышал, с каким хрустом кости ломаются? А как люди по-звериному рычат? Весь бушлат уже в крови, а в диске автоматном ещё с десятка патронов осталось. И те выстрелил, пока к крепости бежали.

Я своих ни одного не помню. Всё как во сне. Только потом — руки болят. И чья кровь на бушлате, на сапогах... А чья кровь? Того, кто на пути попался.

— В другой раз нас, семьсот пятьдесят десантников, на малых судах высадили на побережье косы Фрише-Нерунг. Надо было захватить плацдарм, перерезать косу и не дать немцам воспользоваться косой при отходе от Бранденбурга и Пилау на Данциг. Чтобы не ушли к союзникам.

Четыре часа утра. Выбрались мы на берег. Ещё не рассвело. Стоял апрель 1945 года. Пирс не был приготовлен, и мы прыгали прямо в воду. Катера поддерживали нас как могли, вели по берегу огонь из крупнокалиберных пулемётов. А у немцев там были закопаны артиллерийские батареи. Обнаружили они нас почти сразу. И — как дали шрапнелью! А шрапнель — такая гадкая штука. Вверху рвётся. Никуда от неё не схоронишься, ни в окопе, ни в воронке.

Командир роты у нас такой бедовый лейтенант был. Бывало, всё впереди нас бежит. Первый в атаку поднимался. В Инстербурге тоже первым в немецкую траншею кинулся. И вот он только высунулся из траншеи, ему в каску осколком сразу и ударило. Каска так и разлетелась. Я подполз к нему. Положили мы его на дно траншеи. Он нам сказал: “Ребята, оставьте ме-

ня. Перевязывать бесполезно. Держитесь. Отходить вам не разрешаю”. И тут же помер.

Командование ротой принял на себя мичман Копыльцов.

За полсуток нас перемолотили там основательно. В строю осталось чуть больше восьмидесяти человек. Многие были ранены. Без поддержки тяжёлого вооружения наступать трудно.

Меня контузило и ранило в ногу. Контузило так сильно, что в себя я пришёл только в августе.

Когда мы шли на высадку, приказано было никаких документов с собою не брать. И вот меня, раненого и контуженого, вывезли с косы и отправили в госпиталь в Друскининкай. Рана моя вскоре зажила, а контузия не проходила.

И однажды на госпиталь напала банда литовцев, “лесных братьев”. Поднялась паника. Народ весь куда-то побежал. Крики. Как будто рукопашная началась... И тут, во время этой паники, я и пришёл в себя. Очнулся, гляжу, на спинке моей койки висит табличка: “Неизвестный матрос”.

А домой из штаба батальона ушло извещение, что, мол, так и так, ваш сын, старший матрос Виктор Сумников пропал без вести во время боя...

В августе я написал домой письмо, что жив и выздоравливаю.

А “лесные братья” приходили к нам за продуктами. Оголодали в своём лесу. Лежачих они не тронули. А вот батальон выздоравливающих, который сразу оказал сопротивление, положили почти весь. У них же и пулемёты были, и гранаты. Многие раненые выскочили через окна и убежали по шоссе в сторону Каунаса. Я, когда пришёл в себя, тоже побежал по этой дороге. Нас подобрала попутные машины. Все, кто мог, бежали из госпиталя. Оружия-то у нас не было. А навстречу, на Друскининкай, на большой скорости уже мчалась колонна грузовиков с войсками НКВД. Запомнил я вот что: у них на погонах были номера.

Когда я пришёл в себя, спросил у ребят, какое сегодня число. Они называли. “А какой месяц?” — “Август”. Это был мой день рождения. Мне исполнилось восемнадцать лет.

— А вот за что я был награждён медалью Ушакова на цепях. Правда, теперь её у меня нет. Украли. Но удостоверение цело.

1945 год. Восточная Пруссия.

Пошли мы вперёд. Разведка боем. Рота. Полундра сразу прорвала оборону, затоптали мы их окопы и траншеи и рванули в глубину. Узким клином прошли. И вскоре оказались у них в тылу. А что тыл? В тылу войск нет. Боевать не с нем. Прошли мы немного вдоль фронта и уже начали поджигаться к траншеям. Надо ж было возвращаться к своим. Вышли к долине. Долина вроде котлована. Меня и ещё нескольких пехотинцев посылают в разведку. Пошли. Смотрим: в той котловинке немцы остановились. Оружие в пирамидах. Завтрак готовят. Жратвою пахнет. Что-то лопочут. Я прислушался, но ничего не понял. А интересно было узнать, что они говорили. Я к языкам всегда был чутким и любопытным. Вернулись мы, доложили.

Так командиры наши тоже ребята лихие были. Решили их, тех немцев, братъ. Несколько взводов ушли в обход. Обложили мы их со всех сторон. Они даже ничего и не почувствовали. Боевые охранения бесшумно сняли. Полундра финками умело работала. Поднялись по условному сигналу: “Полундра!” Они сразу переполошились. Закричали: “Шварцен Тойфель! Шварцен Тойфель!”* И — ни одного выстрела. Нам тоже было приказано огня не открывать — до первого выстрела с той стороны. Хорошо, что никто из них не успел схватиться за оружие... Мы уже пулемёты установили. Ребята некоторые, гляжу, финки за голенища сунули. Всех бы до одного положили. Один только офицер выхватил пистолет и хотел было выстрелить в себя, но к нему кинулся матрос и прикладом автомата выбил из руки пистолет. Всех мы их взяли в плен. Привели в батальон 250 человек.

Когда брали, я подбежал к одному, ударил его ногой, пихнул стволом автомата. Он, смотрю, сразу заплакал, весь в саже... Я спросил потом: “Ви-

* “Чёрные черти!” (нем.).

филь яре?” И он мне показал на пальцах, что — двадцать восьмого года рождения. На год моложе меня. Нет, там уже были немцы другие, не такие нахальные, какие к нам сюда пришли, под Калугу, под Москву. Там были уже остатки, замухрышки. Старики да непризывная молодёжь. Артиллерии при них не было. Вооружение — стрелковое, в основном винтовки.

— Однажды, перед Инстербургом, тоже пошли в разведку боем. Всем батальоном. Нам в поддержку придали миномётную роту. Там мы здорово их покромсали. Не сдавались. А когда не сдаются, у полундры столько злобы появляется...

Помню, сдружился мы с одним младшим сержантом из миномётного расчёта. Недели две мы с ним ели из одного котелка. 14 апреля его ранило.

Ему всё хотелось найти аккордеон. Вот возьмём какую-нибудь деревню. Дома стоят пустые. Он мне: “Пойдем, сходим, посмотрим. Может, где аккордеон найдём”. Я ему: “Вась, а что это такое — аккордеон?” Не знал я тогда, что это за штука такая. На хуторе у нас только гармошка и была. А он мне: “Да это такая жёлтая гармошка. Только с клавишами. Вот найдём, я тебе покажу, как на нём играть надо”.

Однажды полез на чердак и там подорвался на mine.

Через тридцать шесть лет я узнаю, что тут у нас начальник коммунального хозяйства с такой же фамилией. Прихожу: “Василий Иванович?” — “Да”. — “В сорок пятом там-то был?” — “Был”. Узнал. Обнялись. Собрались у меня дома. Отметили.

Ветров Василий Иванович. Боевой мой товарищ. В Восточной Пруссии мы им здорово давали. Наша братва, морские пехотинцы, и миномётчики. Если мы чуть где замешкались, пулемёт там ихний или пушка, миномётчики сразу — залы туда. Всё, проход свободен, можно продвигаться дальше.

В прошлом году я поехал в профилакторий, наш, стариковский, за Калугой он тут недалеко. Приезжаю домой, а мне моя Егоровна и говорит: “Похоронили Василия Ивановича”.

— Как-то, помню, стоим на переправе. Уже не помню, на какой реке это было. Там же, в Восточной Пруссии. Навстречу гонят колонну пленных. Ждём, пока их проведут.

И вдруг один, из колонны, выскакивает к нам и: “Товарищи, дайте закурить!”

Во взводе у нас был матрос, звали его Иваном Николаичем. Годов, может, так под сорок. Нам, молодым, он казался стариком. Мы его и звали по имени-отчеству. Глядим, наш Иван Николаич мигом с плеча автомат и — чирк его! Завалился. А Иван Николаич весь векипел! И дальше бы, наверно, очередь повёл. Подскочила охрана: “Что такое?! Кто стрелял?!” А мы уже Ивана Николаича затолкали в свою колонну и: “Не знаем, кто. Наши не стреляли”.

А после, когда на другую сторону реки перешли, его и спрашиваем: “Ты что ж это, Иван Николаич?” — “Такие товарищи, — говорит, — всю мою семью расстреляли в Псковской области”.

Власовцы.

— А один раз... Тоже... Стоим где-то, костры запалили. Немцы далеко. Гармошка заиграла. Ребята сразу: “Гоп со смыком!..” Пошла круговерть! Молодые все! Задорные! В медалях! А у кого и по две!

Немцы, гражданские, похоронились.

А были там, в Восточной Пруссии, хутора поляков. Эти наглые. Только мы пришли, а они уже ходят, торгуют. А торгуют разной чепухой, что и купить-то нечего. Вот одна полька ходила-ходила вокруг нас. Никто ничего у неё не покупает. Осмелела, подошла, толкнула меня: “Ты! Пердулиный жолнеж!” Это что-то вроде: ты, засранный солдат! Я поворачиваюсь и ей тут же: “Цо чебо пердолюдо дубу твоя matka тоже курва засрата бува!” Глаза у неё сразу выкатились и — как кинулась бежать! Мне ребята: “Откуда ты польский знаешь?” Я и рассказал им, что до войны на хуторах под Калу-

гой мы на четырёх языках разговаривали: русском, украинском, белорусском и польском.

Я был приписан ко взводу разведки. Как снайпер. Мы отдыхали. Приходит капитан-лейтенант, командир взвода разведки, и говорит: “Кто знает польский язык?” — “Я, — говорю, — малость знаю”. — “Пошли”.

Приходим на хутор. А там уже какой-то поляк палатку раскинул, брагу продаёт. Разливает ковшиком. Мне капитан-лейтенант: “Спроси, какие деньги берёт, наши или польские?” Я тому: “Яки пан бере пенёны?” — “А, яка разница, что порты, что сподныця!” Ага, поляк, глядим, весёлый попался, с этим столковаться обо всём можно. Выпил взводный браги. Видать, понравилась. Гляжу, его уже немного разобрало. И: “Ты ему скажи, что нам надо двух девок”. Я поляку: “Пан, треба два цурки”. — “А цо я буду мать?” — “Пенёны”. — “Добже. Вшистка бендить”. Тогда мне капитан-лейтенант: “Скажи ему, чтобы девки были надёжные. Ну, это... Чтобы от них никакой заразы не подхватить. А то тут, после немцев...” Я — поляку. Тот засмеялся: “Добже, добже, пан офицер”.

Прихожу во взвод. А уже слух разошёлся. Разведка! И все ребята позабыли мою фамилию и стали меня звать: “Пан Калиновский! Пан Калиновский!” Так и звали, пока меня на косе той проклятой не ранило.

— Была у меня снайперская винтовка. Стрелял я неплохо.

Стояли мы в Кёнигсберге. Ночевали в полуразрушенном подвале разбитого дома. Занавесились плащ-палатками и спали. Утром встали. А разведчик один, Витя Шишлов, такой бедовый мальш, потянулся и говорит: “Ну, братва, сон сегодня снился!.. Или убьют, или обсеруся!..”

Днём со снайперской винтовкой я пробрался на нейтральную полосу. День просидел. И ни разу не выстрелил. Бывали и такие дни — ни одного немца! И уже стало вечереть. Я знал, что смены не будет, и стал собираться назад. А уйти с “нейтралки” надо тихо, незаметно, а то и самого на мушку возьмут. С той стороны тоже ребята зоркие за нами наблюдают. Смотрю на немецкую сторону: что такое? — наши бегут за нашими! Кричат! Матерятся! “Стой! Такой-рассякой!..” Я быстренько расчехлил прицел, глянул: это ж наш Витя Шишлов бежит! За ним вроде как кто-то из пехоты. Одежда — пехотная. Матерятся, догоняют. Что там происходит, не пойму. Смотрю, окружили Витю. Стали подходить. Но тут — сразу дым! Все попадали. Тут я понял: Витя Шишлов гранату взорвал.

После ребята рассказали: полез на “нейтралку”, хотел, видимо, трофей какие-то собрать... А власовцы его и прихватили. В нашу форму одеты были.

И куда его, дурака, понесло?.. Война-то уже кончалась.

— Однажды наши артиллеристы подбили немецкий танк. Стоял он, подбитый, на нейтральной полосе. Я со снайперской винтовкой выполз вперёд, затаился. Веду наблюдение. Гляжу, один высунулся из башенного люка. В комбинезоне, в шлеме — танкист. Уже по пояс вылез. Я прицелился — щёлк! — он сразу и провалился в люк. И я потом целый день лежал и ждал, не высунется ли ещё кто. А у них же там нижний, десантный люк...

Стрелял я и ещё, как говорят, “по движущимся предметам”. Попадал или нет, кто знает. Дело прошлое, да простит мне Господь, что я стрелял в людей. А стрелял я хорошо. Видимо, попалал...

Я был против того, чтобы мстить им тем же, что они у нас натворили. Помню, было... Заскочат наши в дом и из автоматов — по зеркалам! На столах, прости ты... нагадят. Ну что это, к чему? Вроде как им уподоблялись. Когда они к нам в сорок первом пришли, наглые, сытые, в соседней деревне за дворами вырыли траншею для туалета, настелили жердей и, после обеда, садятся — задницами к деревне. Всей ротой. И сидят, гогочут... Тьфу! Разве ж это люди были?

— А уже слышать было, особенно по ночам, как наши идут. Тяжёлая артиллерия била. Фронт валом катился. Тут уж наши хломосили почём зря, не то что в сорок первом, под Вязьмой.

Иногда нас отправляли на железнодорожную станцию — разгружали вагоны. Обычно, когда нас гнали туда, вдоль дороги стояли жители, в основном угнанные немцами из оккупированных областей. Кричали: кто из Тулы? кто из Брянска? Деревни называли. Раз так, слышу, кричат: зимницкие есть? Поворачиваюсь, кричу вслепую: я из Зимниц, а ты кто? Стоит мальчик: ты что, дядя Ефим, не узнал меня? Боже ты мой, гляжу, это ж Витя Лавреев! До войны такой шалун малый был! Что в Зимницах, спрашиваю? Он мне всё и порассказал: что Зимницы немцы сожгли дотла, что мужиков всех, и даже ребят по пятнадцать-шестнадцать лет, постреляли, что только кое-кто случайно остался жив. Бабы-то с детьми живы? Живы, говорит. А отец мой? Нет, говорит, расстрелян. А тесть, Кирила Арсентьевич? И он, отвечает мне Витя. А дядя Охрем? Дядя Охрем, говорит, живой остался. Условились мы с ним назавтра встретиться возле проволоки. Гражданским к нам приходило было можно, охрана не препятствовала. Да что-то не пришёл Витя.

И надо ж было такому случиться, что встретились мы с ним потом ещё раз, уже в Германии, куда нас дальше угнали. И рассказал он мне тогда побольше. Например, что в Минске с ним вместе Степанида была с детьми. Это одна женщина наша, тоже зимницкая. А у нас в Минске комендантом лагеря в то время был немец по фамилии Кац. Раньше, когда мы только-только туда поступили, другой был. Тот всё, бывало, ходил с расстёгнутой кобурой. Чуть что, стрелял без предупреждения. Много нашего брата пострелял. А Кац был добрый. Вот, помню, подойдёт к проволоке женщина, уговорится с кем из наших, и — к нему: мол, господин комендант, мужа наша, отпусти отца к детям? Усмехнётся немец да и прикажет отпустить пленного. Отпускал насовсем. Слыханное ли дело — на волю, после таких-то мучений... А вот же отпустил. Вот бы мне встретиться тогда со Степанидой!..

Витю Лавреева я встретил после 3 мая, когда нас англичане освободили. Англичане нас передали нашим.

За мною ничего такого не числилось. Поэтому после передачи я сразу попал на хозяйство и, считай, опять, как в сорок первом под Новодугнинской, на должность старшины. Жили мы в польской деревне, работали на маслобойне. Снабжали войска продовольствием.

Раз так приезжают двое молодых офицеров. Из особого отдела. Поговорили и тут же отпустили. Больше трепали тех, кто в сорок третьем и позже в плен попал. А нас, кто в сорок первом да в сорок втором... Знали, какая война на нашу долю выпала.

— В госпитале задержался недолго. После излечения отправили в свою часть.

Но, прежде чем попасть в полк, пришлось пройти через фильтрационный пункт. Подождать, пока придёт из части подтверждение на моё имя. Туда дали запрос, и я ждал подтверждения на него. Отфильтровывали полицайев и дезертиров, которые ушли с немцами. Так что недельку пришлось посидеть за перегородкой...

Полк уже стоял в пятидесяти километрах от Берлина. Готовились к общему штурму. Но нас, кавалерию, послали в обход. Нам другую задачу поставили.

Когда шли вдоль моря, попали под обстрел немецких кораблей. Мы вначале и не поняли, что вышли к морю. Едем, чувствуем, что холодом веет откуда-то. Холодом и влагой. И думаем себе: чёрт возьми, наверное, опять реку форсировать!.. А это — Балтика.

Потом повернули на Берлин.

Когда шли на Берлин, мне, как бывалому солдату, преподнесли подарок — новенький ручной пулемёт Дегтярёва. Тяжёлая железяка. Ну, думаю, от Сталинграда прошёл, а тут, видимо... По пулемётчикам, как известно, весь огонь.

Но в Берлине повоевать нам не пришлось. В город мы вошли по развалинам. Повсюду валялись трупы. Огонь. Возле Бранденбургских ворот нас остановили и приказали занять оборону.

Вот почему наш корпус получил название 70-го гвардейского Бранденбургского. А я воевал в 3-м эскадроне 57-го гвардейского кавалерийского полка 15-й кавалерийской Мозырской дивизии.

— Война для нас, молодых солдат и сержантов, закончилась в феврале сорок пятого. В полку собрали весь двадцать шестой год, у кого образование было не меньше семи классов, и отправили в Казань, в высшее танковое училище.

Ехали мы отдельным эшелоном. А трофеев набрали столько, что за сто километров вперёд народ уже знал: едет очень богатый поезд. На станциях нас уже встречают. Тогда ведь как было: где станция, где скопление народа, там и базар. Мы везли и обувь, и бельё, и отрезы материи, и разные безделушки. На пристанционных базарчиках всё это добро меняли на продукты. Помню, как выйдем где, так весь базар и скупаем!

Был такой эпизод. В нашем вагоне. Ребята банку тушёнки ровненько срезали, содержимое вытряхнули, съели, в банку насыпали шлаку и так же ровненько закрыли. Так закрыли, что — ни шва, ни вмятинки. Солидолом обмазали — полная! Подошёл к вагону цыган. Вот ему-то эту банку и запродали. Чуть погодя цыган тот возвращается и говорит: “Ребята, кто же это сделал?” А — кто? Кто ж теперь признается? Дело сделано. Мясо съедено. Банка — продана. Тогда он: “Да я пришёл вас поблагодарить. Ну, молодцы! До чего же ловко сделали! В первый раз меня, цыгана, обманули!”

— Был в нашем полку экипаж Паши Бердникова. Хорошие, боевые ребята. Настоящие герои!

Когда мы взяли Владиновац, это в Югославии, Бердников на своей машине вырвался вперёд. Ушёл километров на восемьдесят. Полк завяз, а он прорвался и пошёл с боем дальше и дальше, пока не кончилось горючее в баках. Навалились немцы. Хотели, видимо, взять живым. Но не взяли нашего Пашу Бердникова ни живым, ни мёртвым.

Догнали мы его вскоре, видим: стоит самоходка, а кругом столько трупов навалено! Всё в воронках. Немецкие танки горят, машины, бронетранспортёры... Побойще было великое.

Наш снаряд тяжёлый, сорок три килограмма! Калибр хороший — 152 миллиметра. Пушка бьёт на восемнадцать километров! И если прямой наводкой, то броню “тигра” прошивала насквозь. Перед Пашиной самоходкой несколько “тигров” стоят, догорают.

Это было, как я уже сказал, в Югославии, между городами Владиновац и Крушевац.

Экипаж весь цел. Встретили нас. Обнялись. Мы стали расспрашивать. Паша Бердников и говорит: “Что рассказывать? Сами видите”.

А у них уже ни горючего, ни снарядов, ни патронов.

— 5 мая наш полк отвели на пополнение. Пехота пошла на отдых. А нас, миномётчиков, направили на другой участок. На артподготовку. В соседнюю дивизию. Чтобы увеличить плотность огня перед атакой.

Отстрелялись мы седьмого числа. Восьмого сворачиваемся и едем в свой полк.

Полк на отдыхе. Едем на лошадях. Были у нас в то время хорошие трофейные лошади. К концу войны мы всем обзавелись. Всё у нас было. Это не под Зайцевой горой... Проезжаем мимо штаба дивизии. Навстречу девчата из штаба: “Ребята! Война кончилась!” Мы знаем, что девчата из штаба дивизии народ осведомлённый. Мои миномётчики сразу переполошились, радуются. Схватились за оружие, палят вверх направо.

А ехали мы вдоль фронта. Там, слышу, гремит. Нет, говорю, ребятам, рано радуетесь. И на душе как-то неспокойно. Если бы штабные девчата ничего не сказали, спокойнее бы себя чувствовали. А тут разволновались. Неужели, думаю, и правда домой живым вернусь?

Едем себе дальше. Въезжаем в деревню. А в деревне пусто. Тишина. Где полк? Узнаём: полк наш часа два как вступил в бой. Вот тебе и конец войны. Вот тебе и победа.

Сердце моё заколотилось. Так уж нам не хотелось воевать! Жутко как не хотелось. Думаю: всю войну провоевал, а тут, может, в последнем бою пуля найдёт... Под Зайцевоу горой выжил, не замёрз. В чужих валенках выжил! Под станцией Зикеево санитары выволокли полуживого. От тифа не умер. А тут, в самом конце...

Но что поделаешь? Пошли к передовой. Не будешь же в тылу отсиживаться, когда там, впереди, твои товарищи дерутся. Может, гибнут без нашей поддержки. Перешли дамбы. Несколько раз на мостах ждали очереди, чтобы проехать вперёд со своими миномётами. А противник занимал соседнюю деревню, и снаряды оттуда так и летят. Большой калибр. Так и проходят над головами с жутким шорохом. Падают глубоко в тылу. Вслепую бьют.

К утру соединились со своим батальоном.

Рассвело. Я приказал ребятам отрыть огневые. И сам себе окоп копаю. Посматриваю в сторону немцев. И вдруг мимо идёт капитан. Идёт свободно, не прячется, головы не пригибает. По передовой так не ходят. Посмотрел на меня, остановился. И говорит: “А ты что делаешь, старший лейтенант?” — “Как что? — говорю. — Ты что, первый день на войне? Огневые отрываем. Как положено”. — “Первый не первый, — говорит капитан. — А что последний — это уж точно. Война-то кончилась!” — “Как кончилась?” Ребята мои сбежались в кучу, рты разинули, стоят, ждут. “Хорошо, — говорю, — если и вправду кончилась. А если ещё воевать... Если воевать, то лучше уж заранее и как следует огневые отрыть, чтобы быть готовым и людей зря не положить”. Капитан усмехнулся на мои слова и пошёл себе дальше. Я и верю, и не верю тому капитану. Думаю: один раз мы уже про победу слышали...

А утро наступает такое хорошее! Тёплое. Запахи весенние, добрые. Земля свежая, умытая. Благодать, а не утро!

И вдруг вверх взлетели ракеты. Много ракет. Разных цветов — красные, зелёные, белые... Что такое ракета, я тоже знаю: или в атаку идти, или нас атакуют. Но тут — букетами летят! Прямо — цветами рассыпаются в небе! Ну, думаю, наверное, и правда конец войне.

Стал я смотреть в бинокль. Пристально смотрю в сторону противоположной деревни, где засели немцы. У нас-то, думаю, победа, а у них что? Вижу: мостик штурмовой между нашей и их деревней, и там, за мостиком, виднеется белое полотнище. Сдаются! Твою-мать! — сдаются! Тишина. Ни голоса, ни выстрела. И верится уже, что всё, конец войне, и не верится. До слёз!

Тут вышел заместитель командира полка по политчасти. С ним полковая разведка. И уходят они по тому мостику в деревню. Прямо к немцу пошли. Долго их не было. Мы уже стали беспокоиться: вдруг, думаем, сейчас подпустят поближе и расстреляют? Но выстрелов не было. Расстояние между нашими деревнями метров восемьсот. И вот через час-полтора, видим, идут. Немцы — сюда, а наши — туда. Наши смеются. Победа! Всё! Взяли мы их! Взяли! А немцы — понурые.

Вот тут-то я и понял окончательно, что всё, дожил всё-таки до Победы. Живой остался.